

**Савинков Борис Викторович**

**То, чего не было**

**Москва  
Книга по Требованию**

УДК 82-311.6

ББК 84-4

**Савинков Борис Викторович**

То, чего не было / Савинков Борис Викторович – М.: Книга по Требованию, 2011. – 288 с.

**ISBN 978-5-4241-2992-6**

Савинков Борис Викторович (В.Ропшин) - одна из одиозных фигур русской истории начала XX века. Руководитель боевой организации партии эсеров, непримиримый враг самодержавия, становится затем членом Временного правительства, организует контрреволюционные заговоры против Страны Советов. Арестованный чекистами, он покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна Лубянской Тюрьмы. Литературные произведения Б. Савинкова основаны на фактах его жизненного пути, его бурной карьеры, закончившейся полным фиаско. Объективно они свидетельствуют о крахе эсеровского движения, о бесплодности и аморальности политического терроризма.

**ISBN 978-5-4241-2992-6**

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

В. Ропшин (Борис Савинков)  
То, чего не было



# Савинков Борис Викторович. Он же В. Ропшин

Беглые заметки вместо академического предисловия

На севастопольской гауптвахте он ждал петли.

В камере на Лубянке ждал пули исполнителя.

И виселица, и расстрел причитались в точном соответствии с законом. В молодости – по законам Российской империи. В зрелости – по законам Российской республики.

21 августа 1924 года он приступил к письменным показаниям. Почерк был твердым, текст сжатым, как возвратная пружина браунинга.

«Я, Борис Савинков, бывший член Боевой организации ПСР,<sup>1</sup> друг и товарищ Егора Созонова и Ивана Каляева, участник убийства Плеве, вел. кн. Сергея Александровича, участник многих других террористических актов, человек, всю жизнь работавший только для народа, во имя его, обвиняюсь ныне рабоче-крестьянской властью в том, что шел против русских рабочих и крестьян с оружием в руках».

27 августа 1924 года Военная коллегия Верховного Суда СССР начала слушанием дело Савинкова.

29 августа председатель объявил заседание закрытым.

Савинкова Бориса Викторовича, 45-ти лет, приговорили к высшей мере наказания с конфискацией имущества.

Имущества не было. Конфискации подлежала жизнь.

К опытам этой жизни, напряженно-нервным, как снаряжение бомб в подпольной мастерской, обращался писатель В. Ропшин.

Ахматова сказала о чеховском «Рассказе неизвестного человека»: «Как это фальшиво, искусственно. Ведь Чехов совершенно не знает эсеров». Ропшин эсеров знал, ибо был Савинковым.

В его прозе много заемного? Пусть так. Зато фальши-то нет. Он изобразил Коня бледного. Конь вышел блеклым, но не пряничным. От него шибало потом и сукровицей погони.

Из глубины сибирских руд отозвался читатель, каторжанин-террорист: искренностью и силой взволнован до глубины души; все писано слезами и кровью сердца; нет ни одного не выстраданного слова.

Имя этого читателя Савинков назвал в первых строках своих августовских показаний 1924 года.

За двадцать лет до того они с Егором Созоновым готовили покушение на министра внутренних дел, статс-секретаря и сенатора Плеве.

Идеалом Плеве была вечная мерзлота политического грунта. Ему говорили, что со дня на день возможна студенческая демонстрация, он отвечал: «Высеку». Ему говорили, что в демонстрации примут участие курсистки, он отвечал: «С них и начну». Надо бы уточнить. Начинал Вячеслав Константинович – и продолжал – не розгами, а кандалами и эшафотами. Символ всего сущего он видел в параграфах инструкций. Он был столь же фанатичным бюрократом, как и свирепым шовинистом. Именно Плеве разгромил украинских мужиков-повстанцев. Именно Плеве подверг военной экзекуции грузинских крестьян. Именно Плеве

науськивал погромщиков на еврейскую гольтьбу. Именно Плеве гнул долу финляндцев. И желая воздать должное коренным подданным, утопил русских матросов в пучинах Цусимы, русских солдат загубил на сопках Маньчжурии: именно Плеве подвизался в дворцовом круге рьяных застрельщиков Русско-японской войны.

– Я сторонник крепкой власти во что бы то ни стало, – бесстрастно диктовал он корреспонденту «Матэн». – Меня ославят врагом народа, но пусть будет, что будет. Охрана моя совершенна. Только по случайности может быть произведено удачное покушение на меня.

Интервью французскому журналисту дал Плеве весной 1902 года, усаживаясь в министерское кресло. Озаботившись личной безопасностью, он, что называется, брал меры: уже возникла эсеровская Боевая организация. Отметим претонкое обстоятельство – Плеве рассчитывал и на сверхсекретного агента-provokatora, фактического руководителя боевиков.

Эта надежда взорвалась вместе с метательным снарядом.

Июльским утром девятьсот четвертого года в Петербурге группа Савинкова настигла карету министра на Английском проспекте. Плеве сразила бомба Егора Созонова, тяжко израненного ее осколками.

Эхо разнеслось всероссийское. Не станем цитировать ни революционеров, ни левых интеллигентов. Не потому, что страшен зубовный скрежет новоявленной генерации монархистов, а для того, чтобы рельефнее обозначить общую реакцию на чрезвычайное происшествие.

Князь М. В. Голицын, отнюдь не левый и уж, само собой, не инородец, писал в своих неопубликованных мемуарах: «Признаться, никто его не пожалел. Он душил всякую самую невинную инициативу общества». В мемуарах Сухотиной-Толстой читаем: «Трудно этому не радоваться».

Если ей было трудно не радоваться, то как было не ликовать Борису Савинкову? Нет, не ликовал.

Литератор, не раз встречавший Савинкова, резкими штрихами портретировал Бориса Викторовича: сухое каменное лицо, презрительный взгляд; небольшого роста, одет с иголочки; не улыбается, веет безжалостностью. Однако подпольщица, отнюдь к сантиментам не склонная, увидев сокрушителя Плеве, навсегда запомнила мертвенное лицо потрясенного человека. Весь его облик она сравнила с местностью после потопа: и тот, прежний, и не тот, не прежний.

Но в седле он удержался. Устремляясь в атаку, не помышляют о келье для скорбящей души. И не озираются в поисках госпитального фургона.

Кровавое воскресенье девятьсот пятого года насквозь прожгло Боевую организацию. Народное шествие, осененное ликом Спасителя, торжественно-умиленное хоровым призывом к царю царствующих хранить царя православного, мирное шествие просителей, стекавшееся к Зимнему, было расстреляно, искромсано, разметано, растоптано.

Еще и сороковины не справили по невинно убиенным 9-го января, как группа Савинкова изготавилась к удару по династии. Кровь, пролитая на пути к Зимнему дворцу, отозвалась кровью, пролитой близ Николаевского дворца. В Кремле был убит генерал-губернатор Первопрестольной.

Бомбист, схваченный тотчас, объявил на первом же допросе:

– Я имею честь быть членом Боевой организации партии социалистов-рево-

люционеров, по приговору которой я убил великого князя Сергея Александровича. Я счастлив, что исполнил долг, который лежал на всей России.

Следователь по особо важным делам Головня, вероятно, поморщился от этого пылкого: «я счастлив». А может, и не поморщился. В архивном документе московской охраны зеркально отразилась Белокаменная: «Все ликуют».

Бомбист, однако, отказался назвать свое имя. То было правило боевиков: покамест установят твоё имя, товарищи успеют скрыться. И верно, группа Савинкова не пострадала. Перелистывая архивную связку, некогда хранившуюся в Особом отделе департамента полиции, убеждаешься в энергии розыска. Но лишь в середине марта прилетела депеша из Варшавы: «Убийца великого князя несомненно упоминаемый циркулярами 1902 г. №№ 1907, 5000 и 5530 Иван Платонов Каляев, приятель Бориса Савинкова».

Иван Каляев испытывал к Савинкову не просто дружество, а «чувство глубочайшего восторга» – утверждает боевик, вблизи наблюдавший и того, и другого. Восторг этот можно, конечно, отнести на счет натуры Каляева – впечатлительной, чувствующей свежо и сильно; недаром прозвали его «Поэтом». Но ведь и Савинкову надо же было обладать чертами, решительно несовместными ни с презрительным взглядом, ни с жестокосердием.

Каляева удушили на эшафоте.

Виселицу сооружали ночью на мрачном каменистом острове, в Шлиссельбургской крепости. На дворе плотничали, в каком-то закутке покуривал палач, а в комендантском доме угощались военные и статские. Барон Медем, генерал, рассказывал «о многих казнях, свидетелем коих он был». (Сценку застолья воссоздал очевидец, прокурор, рукопись которого не опубликована полностью.)

Ночь стояла белая, майская.

«Дорогая, незабвенная мать, – писал осужденный. – Итак, я умираю. Я счастлив за себя, что с полным самообладанием могу отнестись к моему концу».

И – в последних строках: «Привет всем, кто меня знал и помнит».

Знали и помнили в городе Варшаве – улица Пенкная, 13, квартира 4. Там жили Савинковы.

Мать Каляева, овдовев, осталась с детьми почти без средств. Мать Савинкова пробавлялась на мужнину пенсию и на свои, не бог весть какие, литературные гонорары. Агентурная справка гласит: семья Каляевых сильно нуждается; ей помогает семья Савинковых.

В доме на Пенкной понятия «революция», «полиейщина», «деспотизм» не были отвлеченными. Старший сын погиб в якутской ссылке. Борис едва избежал участи Созонова, участи Каляева.

Его первый арест пришелся на вьюжное Рождество девяносто седьмого года. Ох, как нетерпеливо поджидали Бореньку, студента Петербургского университета. Он приехал. Мать радовалась: сыновья выходят в люди, младшие дети здоровехоньки. Мужем она гордилась. Поляки называли его «честным судьей», это было высокой похвалой – легион мундирных русификаторов царства Польского не блистал ни честью, ни честностью.

Судья Савинков недурно изучил право. Увы, ему привелось полной мерой познать бесправие. Еще не притупилась боль от гибели первенца, как второй сын был увезен из Варшавы в Петербург, на Шпалерную, в тюрьму. Савинков-старший заболел, его отчислили из министерства юстиции. Им овладела мания

преследования. Самая стойкая мания там, где неизбывна мания преследователей. Тенью скользил он по комнатам, губы дрожали: «Жандармы идут... Жандармы идут...»

Не будем задерживаться на тюремно-этапно-ссылочных перипетиях Савинкова. Не ахти как трудны они в сравнении с нашими недавними годами. Примечательно вот что: Савинков начинал социал-демократом. В ссылке он написал статью «Петербургское рабочее движение и практические задачи социал-демократии». Статья, по слову Ленина, отличалась искренностью и живостью. А главное, совпадала с его размышлениями о том, что делать, ибо молодой автор прокламировал насущную необходимость «единой, сильной и дисциплинированной организации».

Однако, внеся свой пай в изначальный капитал «партии нового типа», Савинков вскоре изменил социал-демократии. Не овладели ли душой будущего Ропшина эмоции, созвучные замаятинским? Евгений Замятин признавался: я был влюблен в Революцию, пока она была юной, свободной, огнеглазой любовницей, и разлюбил, когда она стала законной супругой, ревниво блюдущей свою монополию на любовь. Что-то эдакое чувствуется и в Савинкове, разве что в обратном варианте.

Расхожие представления угнетают одноцветностью. В таких представлениях большевик как бы держатель контрольного пакета с акциями-истинами, он на дружеской ноге с токарями-слесарями. Меньшевик – пенсне на местечковом носу – суетлив, труслив, трухляв, токаря-слесаря над ним потешаются. А эсер, этот взбесившийся мелкий буржуа, прикидываясь другом народа, носит косоворотку, и такой уж нервный, такой нервный, будто за пазухой у него адская машинка; он либо бомбист, злонамеренно мешающий развитию массового движения, либо нахал, дергающий за бороду Карла Маркса.

Да, эсеры держали курс на «обычную» парламентарную республику. Да, чаяли демократического самоуправления. Крупное коллективное землепользование видели лишь за горизонтами всевозможных коопераций. И смели полагать, что российский «капитализм еще не исчерпал своих положительных возможностей», а государственный социализм, учрежденный поспешно и судорожно, «провалится с треском».

Спору нет, они вели политический террор – и против тузов режима, и против мелких козырей с шевронами за беспорочную службу режиму. «Террорную работу» (тогдашнее выражение) считали они партизанскими действиями, прологом действия регулярных сил. Всю эту «работу» осуществляла одна – не единственная, – а одна из эсеровских организаций – Боевая. Вот она-то и была огнеглазой любовницей Бориса Савинкова.

Ровно год спустя после гибели Каляева, в мае девятьсот шестого Савинкова изловили. Арест произвели так, словно «поручик Субботин», прибывший в Севастополь, вот-вот взорвет и город, и корабли на рейдах. Филеры заломили ему руки, полицейский офицер уткнул в грудь дуло револьвера, солдаты вкруговую ошетинились штыками.

Савинкова доставили на главную гауптвахту. Был наряжен военный суд. Это ничего иного не означало, как только близость виселицы. Но все дальнейшее произошло словно в тюремных снах, пресекающих дыхание: верные товарищи, побег из-под стражи, парусный бот, бравый лейтенант и два дюжих матроса.

Счастливо разминувшись с броненосцем и миноноской, суденышко направилось к берегам Румынии.

Об одном из боевиков Савинков писал: «Он не представлял себе своего участия в терроре иначе, как со смертным концом, более того, он хотел такого конца: он видел в нем, до известной степени, искупление неизбежному и все-таки греховному убийству».

Такое же желание владело и Пьером Безуховым, решившимся заколоть Наполеона. «Пьер в своих мечтаниях не представлял себе живо ни самого процесса нанесения удара, ни смерти Наполеона, но с необыкновенною яркостью и с грустным наслаждением представлял себе свою гибель и свое геройское мужество».

Но Пьер и не помышлял о греховности убийства. На войне как на войне. А боевика, сколь бы он ни внушал себе – ты в тылу врага, – боевика пригнетало то, что он выслеживает жертву и нападает словно бы из-за угла. Э, усмехнутся скептики, бесы они, и шабаш. Полноте! И бесы веруют, говорит апостол. Интеллигентная девушка объясняла Савинкову: «Почему я иду в террор? Вам неясно? „Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою Мене ради, сей спасет ю“. – И, помолчав, прибавила: – Вы понимаете, не жизнь погубит, а душу».

Признавай иль не признавай религиозную струну в душе русского террориста имярек, но вот уж что решительно нельзя признать, так это русского почина в «террорной работе». И вовсе не потому, что апологеты родных осин клеймят русскую революционность печатью чужеродности. Кстати сказать, философ Н. Бердяев, ныне читаемый поспешно и жадно, числил национальной чертой и консерватизм, и революционность.

В конце 40-х годов текущего столетия дали команду бороться за приоритет во всех «регионах» бытия. И боже мой, где только не носились мы выше всех, дальше всех, быстрее всех. Однако о первенстве в таком деле, как экстремизм, не заикались. Хотя именно здесь-то и достигли в сравнении с 1913 годом неслыханного энтузиазма и невиданной деловитости. Нет, не заикались. Но годы спустя такой «приоритетен» подарил нам американский историк Ричард Пайпс.

Ужасаясь современному западному экстремизму, и это естественно, он, будто привстав на цыпочки и вытянув шею, расслышал глухой гром над Петербургом – народовольцы убили Александра II. Расслышал и указал: вот откуда все пошло. (Сейчас, когда плюрализм цветет, как вешняя черемуха, нашлись в наших палестинах его единомышленники. Без них-то, говорят, без этих-то народников и прочих масонов, мы бы ого-го где бы уж были.)

Так вот, если историк забывчив, то История злопамятна. Спросите, и она назовет множество террористов, множество террористических актов, явившихся городу и миру задолго до кроваво-динамитного морoka над Екатерининским каналом.

И совсем уж поразительно, что Р. Пайпс слона не заметил. Ведь императора убили в марте 1881 года, а в июле 1881 года убили президента США. Суть не в хронологии, а в сущности. Ее выставили народовольцы открыто, публично:

«Выражая американскому народу глубокое соболезнование по случаю смерти президента Джеймса Авраама Гарфильда, Исполнительный комитет считает своим долгом заявить от имени русских революционеров свой протест против

насильственных действий, подобных покушению Гито».

Что за притча? Простая, все определяющая по своим местам. Там, где существуют политические свободы, демократическая государственность, там «политическое убийство есть проявление того же духа деспотизма, уничтожение которого в России мы ставим своей задачей».

Коль скоро дух деспотизма упорствовал, то бомба, убившая царя, оставила в живых идею царевубийства. Савинков, мягко выражаясь, был ей не чужд.

Литературные критики правы: Л. Н. Толстой оказал сильное влияние на В. Ропшина. Может быть, и мы не ошибемся, указав на некоторое влияние автора «Не убий» на Б. Савинкова?

Когда венценосцев, писал Толстой, убивают по суду или при дворцовых переворотах, то об этом обыкновенно молчат. Когда убивают без суда, то это вызывает в династических кругах величайшее негодование. (Как выяснилось, не только в династических. Но об этом чуть ниже.) «Самые добрые из убитых королей, как Александр II или Гумберт, – продолжал Толстой, – были виновниками, участниками и сообщниками, – не говоря уже о домашних казнях, – убийства десятков тысяч людей, погибших на полях сражений». И далее: должно удивляться, что их, королей, так редко убивают «после того постоянного и всенародного примера убийства, который они подают людям». Толстой перечисляет: ужасные усмирения крестьянских бунтов, правительственные казни, замаривания в одиночных камерах и дисциплинарных батальонах. И вот эти убийства, утверждает Толстой, «без сравнения более жестоки, чем убийства, совершаемые анархистами».

«Не убий» написано в девятисотом. Без малого 90 лет спустя крестьянский сын, московский писатель, предложил собравшимся единомышленникам почтить вставанием память Николая II. Нас не шокирует ни это предложение, ни это вставание. Вот только один вопрос. Отчего вслед за тем крестьянский сын, московский писатель, не предложил почтить память усмирённых мужиков, солдат, умучённых в дисциплинарных батальонах, питерских фабричных, убитых 9-го января?

С Николаем II расправились в Екатеринбурге летом восемнадцатого года. В наши дни восторженно-общественная мысль столь резва, что нет-нет да и бежит по кругу, так сказать, отбеганному. Имеем в виду пресловатую погоню за вездесущими «масонами». Иные ловцы, наделенные специфическим нюхом, усматривают в екатеринбургском изуверстве (ведь и детей изничтожили) ритуальное действо нехристей. Вот только опять вопрос. Не привлечь ли к ответу Александра Сергеевича Пушкина? Алиби у него есть, но есть за ним и криминальная угроза: «Тебя, твой трон я ненавижу, // Твою погибель, смерть детей // С жестокой радостью вижу». Максимализм молодости? Положим, так. Однако как же быть со слезинкой ребенка? Каляев, террорист, оглашенный, дважды подступал с бомбой к жертве своей, но в первый раз, заметив в карете великокняжеских детей, – отшатнулся...

Сторонники «ритуальной версии» указывают: над трупами царской семьи глумились; такое неводным крещеному человеку. Да, глумились. Не только расстреляли, а и горячим облили, и... Язык немеет. Кромешный, как черная дыра, ужас. А невдолге после екатеринбургской трагедии труп Фанни Каплан, облитый бензином, жарко пылал в железной бочке под сенью Александровского

сада. Кремацию спроворил матрос, комендант Кремля П. Д. Мальков. Пособлял ему случившийся рядом пролетарский стихотворец Демьян Бедный. Оба, кажись, не инородцы. А куда было податься коменданту, ежели еврей Свердлов не хотел осквернить нашу землю погребением еврейки Каплан? Тут-то, надо полагать, матросу и вспомнилось, как в марте Семнадцатого заживо кремировали в корабельных топках кронштадтских офицеров.

Нет уж, граждане, плуг истории, ржавый от крови, вспахивал не этнические, а совсем иные сущности. Если Пушкин «видел», то Лермонтов предвидел: «Настанет год, России черный год, // Когда царей корона упадет; // Забудет чернь к ним прежнюю любовь, // И пищей многих будет смерть и кровь; // Когда детей, когда невинных жен // Низвергнутый не защитит закон».

Бакунин, дворянин, и Желябов, крестьянин, не разногласили: в груди народной – лавина ненависти. Ой ли, всполохнутся ревнители корней и почвы, ведь когда эти-то, как их бишь, убили Александра Освободителя, опечалилась, пригорюнилась избяная Русь... Так точно, соотечественники, и опечалилась, и пригорюнилась, больше того – прокляла желябовых. Но вот почему: сочла желябовых за господ – царь нас от крепости избавил, царь бы и черный передел учинил, а господа-то и порешили царя.

Не так уж и много лет минуло, «чернь» сбежалась к месту происшествия: убит сын царя-освободителя, великий князь Сергей Александрович. При виде его останков, еще как бы дымящихся, никто не обнажил голову. «Все стояли в шапках», – сообщал в охранку уличный филер. Он же зафиксировал и похвалу злодеям: «Молодцы, ребята, никого стороннего даже и не оцарапали, чего зря людей губить». Какая-то салопница подобрала не то косточку, не то палец убитого, мастеровой прикрикнул: «Чего берешь, чай не мощи!» Кто-то пнул носком сапога студенистый комок: «Братцы, а говорили, у него мозгов нет!»

Что же это такое?

Известный в ту пору бунтарь, священник Григорий Петров предупреждал: «Николай Романов ни полушки права народу не даст. И тогда уже кровь. Море крови. Ожесточение». Так вот, ожесточение, пока еще огражденное частоколом штыков, но уже предвещающее екатеринбургское остервенение восемнадцатого года.

По поводу последнего – теперь, задним числом – все можно: и морализировать, и экранизировать, и тиражировать, и эпатировать. Но куда важнее владеть чутким сейсмографом, подмечающим работу закона исторического возмездия, пока она, эта работа, происходит в недрах вулкана. А футболисты, играющие в одни ворота после того, как игра сделана, мало чего стоят.

Если уж говорить о «ритуальности», то в розановском смысле: «дай полизать крови». В. В. Розанов писал об этом А. А. Блоку. Блок отвечал: «Страшно глубоко то, что Вы пишете о древнем „дай полизать крови“». Но вот: Сам я не „террорист“ уже по одному тому, что „литератор“. Как человек, я содрогнусь при известии об убийстве любого из вреднейших государственных животных... И, однако, *так сильно озлобление* (коллективное) и так чудовищно неравенство положений – что я действительно не осужу террор *сейчас*».

Летом девятьсот шестого года в тумане моря голубом белел одинокий парус, уносивший Бориса Савинкова, сорвавшегося с виселицы. А далеко на севере, в Гельсингфорсе, раздался клич: «Виселицу Николаю!» – на трибуне громокия-

щего митинга был Леонид Андреев.

Боевая организация изначально ощущала себя душеприказчицей Исполнительного комитета «Народной воли». И потому если народовольцы «устранили» Александра II, то эсеровские боевики помышляли об «устранении» его внука. Повторено стократ: в истории все приключается дважды – один раз как трагедия, другой раз как фарс. Социалисты-революционеры не были ни фарсерами, ни фразерами. Иное дело, не иллюзорной ли была преемственность?

Можно не мешкая выложить «пакет» с цитатами из высказываний политических оппонентов, как большевиков, так и меньшевиков. А можно прислушаться к сторонним голосам. И притом несколько неожиданным. Например, Лескова Николая Семеновича. К нему на сей счет никто, кажется, не обращался.

Многие боевики еще пешком под стол ходили, когда он, современник и отнюдь не сторонник народовольцев, горестно размышлял как раз о преемственности: «Сколько будет жертв, сколько самоотверженного мученичества!» Спрашивал: «Но верна ли сама тактика?» Отвечал: нет, ибо отзовется свирепой реакцией.

Позже именно о тактике высказался автор «Не убий». И не то чтобы менторски, а скорее деловито-практически. «Короли и императоры давно уже устроили для себя такой же порядок, как в магазинных ружьях: как только выскочит одна пуля, другая мгновенно становится на ее место». Но не на пулю, как таковую, возлагал Толстой ответственность, а на ружье, т. е. на «устройство общества».

«Нетеррористическая сторона революционной борьбы эсеров заслуживает и давно ждет специального исследования», – отметил в своем недавно опубликованном реферате студент Дмитрий Троицкий, трагически погибший в 1982 году. И верно, на прокрустовом ложе очень уж кратких курсов программы эсеров отрубили не ноги, а голову. Читателю времен перестройки и плюрализма было бы небесполезно познакомиться с их социально-экономическими концепциями.

Вернемся к тактике. Продолжая народовольческую, эсеры не замечали капитальное различие стратегической ситуации. Террор народовольцев – шаровая молния. Террор эсеров – спички, чиркающие во время грозы. Народовольцам досталась пора ледостава. Эсерам – досталась пора ледохода. Не будем иллюстрировать картинками общеизвестными. Спросим о частности: куда бы девался Леонид Андреев, выкликни он свой призыв в години минувшие, а равно и нечто подобное в години грядущие?

Но нет, эсеры не отрекались от тактики предшественников. А социал-демократы, признавая героизм народовольцев, писали и говорили: нам повторять их нельзя.

Этот решительный отказ от повтора весьма утешал охранку. Одним из первых спохватился жандармский генерал А. И. Спиридович. Читая по долгу службы «Искру», полную, по его собственному определению, «огня и задора», он, человек весьма неглупый, заключил, что «террор целого класса неизмеримо ужаснее группы бомбистов».

Тем временем, как уже говорилось, группа бомбистов ставила на повестку дня «центральный акт» – царевубийство. Он был сорван не столько потому, что в верхах партии нет-нет да и склонялись к пресечению террора, сколько потому, что был «центральный агент».

Заглавную роль сыграл случай, который не был случайностью, ибо всегда таится в лабораториях алхимиков революции. Маркс давным-давно предупредил